

Дмитрий ЛАГУТИН

Родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского государственного университета, работает юрисконсультom в сфере строительства.

В 2017 году занял первое место в международном конкурсе «Всемирный Пушкин» в номинации «Проза». Лауреат национальной премии «Русские рифмы», «Русское слово» в номинации «Лучший сборник рассказов». Рассказы публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Новый берег», «Волга», «Нева», «Дальний Восток», в сетевых изданиях «ЛиТERRАтура», «Южный остров».

Живет в Брянске.

ПАР

Пар был уже не тот. Сырой, он не обжигал, не кусал за плечи, не пробивал ноздри до самой переносицы – он мягкими волнами перекачивался от печи к полкам, струился вдоль темных дощатых стен, обволакивал, густо и тяжело стоял, пропитанный несколькими каплями – не больше чайной ложки! – пихтовой настойки.

– Сыро, – сообщил Серега, проведя по лицу ладонью.

С ладони посыпались на пол капли пота.

– Сыро, – согласился я и втянул поглубже горько-сладкий, густой воздух, который полился в меня, как сироп в графин.

Мы сидели на верхней полке, в самом углу, под тусклой лампочкой. Сидели, откинувшись, прижавшись лопатками к шершавой стене. Серега поднял голову, долго смотрел на лампочку, потом надвинул шапку на глаза – так, что видны остались только губы и кончик носа.

Над самыми нашими головами, за потолком запиликал тоскливо сверчок.

– Зато посидеть можно, – предположил я.

– Можно.

За это я иногда даже любил сырой пар – можно забраться на самый верх и нагреваться постепенно, плавно, а потом париться спокойно, выпрямившись и подперев макушкой потолок – не скрипеть зубами, зажмурившись, не прокладывать загодя мысленный маршрут между парильщиками, по которому можно будет, дойдя до точки кипения, как можно скорее добраться до двери, не теряя при этом лица.

Я отнял веник от груди и погрузил в него лицо – плотная дурмящая листва обняла щеки, по лбу проехала, царапаясь, веточка. Тер-

пкий и горький дубовый запах смешался с хвойным – пихтовым – и у меня закружилась голова.

– Погоди, – крикнул Серега, и лавка под ним заскрипела, – не стучи. Я поддам.

Он слез, расправил плечи, нахмурился и пробасил:

– Мужики, поддам?

Мужиков в парилке – кроме нас – было человек семь. Все они сидели разморенные, красные и блестящие, кое-кто размахивал веником над головой, гоняя по кругу жар.

В противоположном от нас с Серегой углу сидел, выпрямив по-военному спину, тощий старик – на одну ладонь у него был надет скребок, и им он громко тер плечи и грудь.

Был еще мальчик лет девяти – невысокий, пухленький, весь розовый. Он стоял рядом с отцом – не сильно отличавшимся от сына по комплекции. Отец сидел, положив ладони на широкий березовый веник и что-то рассказывал в полголоса. По широкому, мягкому лицу блуждала, то показываясь, то пропадая – тогда лицо принимало как будто испуганное выражение, – улыбка. Мальчик слушал внимательно и раскачивал в руках веник поменьше – тоже березовый.

Когда Серега нарушил вязкое спокойствие парной своим натренированным басом, мальчик обернулся, и я увидел, что на шапке у него вышито вместо обычного «Главный банщик», или «Не парь мозги», или «Царь» вышито трогательное и даже как будто несколько неловкое: «Я люблю папу».

– Поддавай, – проскрипел из угла старик. – Все одно пар не тот, сушить надо.

Серега потянулся, хрустнул шеей и, оставив веник на полке, спустился к печи.

– Ерохины прийти должны, – ответил кто-то старику, – они и обновят.

Братья Ерохины считались одними из самых яростных парильщиков – при них до верхней полки добирались только самые крепкие. И то сидели, сжавшись, втянув головы в плечи.

Серега всякий раз храбрился, карабкался повыше, корчился и шипел, точно на углях, но потом махал с досадой и спускался пониже. Выражение его лица при этом как бы говорило: «Ерунда, а не пар, видал я и покрусче».

Я иногда тоже храбрился, полз наверх, но натыкался макушкой на упругую пелену нестерпимого жара и отступал.

Серега при упоминании Ерохиных повел плечами, точно говорящий обращался к нему, а не к старику, пробормотал что-то. Стянул с перильца черпак, зацепил им и оттолкнул заслонку печи.

Из темного нутра выкатилась в парилку, ударилась в колени сидящих и растаяла по углам волна горячего воздуха – точно печь устало вздохнула. Я разглядел круглые бока камней – далеко в глубине, в щелях, неярко алело, – подхватил край затухающей волны веником и, прищурившись, бросил себе в грудь.

– Только много не кидай, – проскрипел старик, стягивая с руки скребок. – Совсем зальешь.

– Не залью, – проворчал Серега, поскреб черпаком по дну таза и дважды плеснул в печь, вытягивая руки и метясь за камни.

В печи глухо зашипело. Серега подумал, зачерпнул еще немного и плеснул в третий раз – и с лязгом потянул заслонку на место. Повернулся и посмотрел на старика, мотнул вопросительно подбородком.

– Ну? Как там?

Старик замер, точно прислушивался, а потом махнул рукой.

– Сойдет.

Я почувствовал, как над головой проплыл жар, ударился в стены, изогнулся и дохнул по плечам. Серега вернул черпак на перильце, взбежал наверх, шумно втянул носом воздух и кивнул:

– Ничего.

И схватил веник – истрепанный, из одних, казалось, палок; купленный еще в позапрошлый раз и доживающий последнюю смену.

Я уже бил себя по ребрам – размахиваясь широко, загребая как можно больше воздуха. Старик отложил скребок и стучал веником по впалой груди – а через какую-нибудь минуту парилка наполнилась звонкими хлопками – звук напоминал стук ливня по листве – и сопением. Серега порывивал и хлестал себя так яростно, словно злился на несчастный веник и хотел разделаться с ним как можно скорее.

Мальчик, зажмурившись, стоял к отцу спиной, а тот, коротко взмахивая руками, опускал на нее поочередно то свой веник, то сына. Мальчик стоял не шевелясь, но потом пискнул что-то, сорвался вниз, придерживая шапку, толкнул дверь и исчез за ней. Отец отложил маленький веник в сторону, запрокинул руку и зашлепал себя по круглым покатым плечам.

– Хорошо-о, – выдохнул Серега и заработал веником еще яростней.

Под конец он даже по лицу себя хлестанул – и, фыркая, сдувая пот с носа, затопал по ступеням к двери. Я допарился как следует, подхватил деревянную сидушку и двинулся следом.

– Надо пихтовый притаранить, – говорил я, кутаясь в простыню и на ощупь вытягивая из сумки квас.

– Что?

Серега сидел, закинув ногу за ногу, и вытягивал из уголка своей простыни одну торчащую нитку за другой.

– Веник, говорю, – пояснил я. – Пихтовый. Простыню распустишь.

Я пшикнул пробкой и с наслаждением сделал несколько больших плотков. Сладко-кислый запах ударил в нос.

– Давно их не видел, – пробормотал Серега, вытягивая очередную нитку.

– К Никитинским привозят, – хрипло отозвался сидящий напротив нас – по диагонали – мужик.

Мужик был лыс, широк, сидел с закрытыми глазами и весь был покрыт розовыми пятнами, точно разрисованный – у нас с Серегой после парилки так краснели только плечи и грудь.

Кроме нас и широкого мужика в этом ряду никого не было. Пустые деревянные сиденья тоскливо расходились в обе стороны, выпячивали высокие спинки, блестели призывно крючками.

На одном темнел оставленный кем-то веник.

В зале было шумно – на других рядах свободных мест было куда меньше, там разговаривали, спорили, смеялись. Из дальнего конца, за нашими с Серегой спинами, доносился гулкий звон стаканов, нестройная, спотыкающаяся песня – она взмывала к высокому потолку, билась о колонны, кружила вокруг белых ламп, кувыркалась над рядами сидений и отдавалась негромким эхом.

В помывочной шумела вода, оттуда тянуло теплым влажным воздухом.

В зале пахло вениками, сыростью и пеной для бритья.

– К Ни-ки-тинским, – повторил задумчиво Серега, оставляя в покое простыню и скручивая пробку со своей бутылки.

Мужик медленно кивнул. Потом медленно открыл глаза – точно это было непросто – медленно встал, медленно повесил полотенце, которым оборачивался, на крючок и медленно пошел в сторону помывочной, переваливаясь с одного бока на другой.

Поравнявшись с высоким, почти под самым потолком прорубленным, окном, он остановился, присмотрелся и повел могучими плечами.

– Темне-еет, – хрипло протянул он. – Когда-то Ерохины придут...

И продолжил путь.

Мы с Серегой остались на весь ряд одни – и какое-то время молча пили квас. Серега если не пил, то хмурился, подпирал небритый подбородок кулаком и равнодушно смотрел на окно.

– Темне-еет, – повторил он задумчиво.

Он сегодня был угрюмее обыкновенного, почти ничего не говорил – а если говорил, то как-то ни о чем. Скажет слово, другое – и сидит молча. Мне даже передалось его настроение – и я почувствовал, что и сам понемногу становлюсь угрюмым. И даже радость от бани, которую я ждал всю неделю, как-то стала остывать.

Я посмотрел на узкое, нависающее над сиденьями окно: за ним было совсем темно, и на фоне угрюмого вечернего неба видно было только край бледно подсвеченной – окном же – липовой кроны. Коряжистые, путающиеся между собой, почти совсем голые ветви дрожали от ветра и тянулись к стеклу.

Я охнул.

– Серег, – ткнул я его локтем. – Какую я штуку вспомнил! Все хотел тебе рассказать.

Серега повернулся, посмотрел вопросительно и потер плечо.

И я рассказал Сереге то, о чем слышал недавно и что меня, признаться, очень впечатлило. Я рассказал ему о том, что наше внимание, наше восприятие пространства при попадании в, скажем, помещение – да хоть бы вот в этот раздевальный зал, как бы растягивается, цепляясь за, так сказать, маячки – понятно, воображаемые. И точно рисует контурную карту – с нами в центре. Получается, что мы, например, сидим – да хоть бы в этом вот раздевальном зале, – смотрим в стену, или на окно, или на нитки, торчащие из простыни, ни о чем специально не думаем, но внимание наше захватывает и как бы обнимает не только зал целиком, с колоннами, рядами кресел и звенящими стаканами, но и улицу за окном, и тротуар с парковкой, от которой мы шли, и дорогу с фонарями, и дома на той стороне, и перекресток, на который мы с Серегой сегодня с разных сторон заехали и с которого в разные стороны после бани разведемся, и кабак на углу – в котором Серега полгода назад кулаками махал. И мы вот как бы ни о чем этом не думаем, а внимание все же крепко за эти маячки держится и... как будто в гамаке нас качает – растянув сетку. Можно ничего, кроме бутылки с квасом, перед глазами не иметь, а все же и дорогу, и перекресток, и кабак – и далее, переулки, магазины, площадь, новостройки – все это как бы ощущать. Как бы физически почти ощущать – как бы в фоновом режиме.

Но это было еще не все.

После этого я рассказал, что, нащупав «маячки» – и нащупав «сетку», в которой мы, как в гамаке, лежим – можно, приложив совсем

незначительное усилие, контурную карту перерисовать – как будто из одного гамака в другой перелезть. Можно, например, представить, что за окном не дорога и октябрь, а, например, зимний лес – густой такой сосняк, с сугробами. Или что наоборот – магистраль в двенадцать полос, машины мчатся, а за магистралью, например, ангары, и в каждом по самолету. А мы сидим в простынях, и нам скоро в парилку бежать. И суть как раз в том, что внимание на такие кульбиты отзывается с готовностью и выстраивает по периметру какие угодно конструкции. И уже реально ощущаешь себя посреди ангаров с самолетами – только вот липа не в тему, конечно, – хотя смотреть продолжаешь на нитки из простыни. И ощущения такие, словно все вот это придуманное совершенно реально – так же реально, как... ну, скажем, как вот этот квас.

Я выпил для убедительности квасу – чтобы было понятно, насколько он реальный, – и посмотрел на Серегу, ожидая реакции.

Серега наклонил голову, подумал и хмыкнул, скривив губу.

– Да, забавно.

Он поболтал перед лицом бутылкой, разглядывая сквозь темный пластик, сколько еще кваса в ней осталось, выпил и закрутил крышку.

– А у меня коробка в четверг полетела. Подшипник, говорят, сточился – и все там стружкой забил, – он вздохнул тоскливо. – Меньше двадцатки не выйдет.

И замолчал.

Мне стало досадно. Я отвернулся, уселся поудобнее и тоже замолчал. Потом посмотрел на окно – на темно-фиолетовое, цвета чернил, небо, на тонкие дрожащие ветви в редкой листве – и представил себе бескрайнюю, голую степь, разбегающуюся во все стороны.

И тут же как будто почувствовал ее – на многие километры вокруг, до самого горизонта.

Холодный ветер скользит по ровной, как лист бумаги, степи, гладит невысокую траву, трава шуршит, расходится волнами. Пахнет сухо и терпко. Над степью выгибается бездонное темное небо, и только далеко на западе, у самого горизонта еще зеленеет едва заметно полоса света. Если поднять глаза и присмотреться, с усилием, то можно различить редкие похожие на песчинки звезды. Тихо в степи, тоскливо – и только стоит в самом центре двухэтажный каменный дом – баня.

Я представил себе нашу баню – массивную, крепкую, выстроенную еще до революции, со шпильями, треугольными скатами и подобием тяжелой приземистой башни, венчающей угол, – представил ее стоящей посреди голой степи – и мне это показалось забавным.

Стоит баня в степи, мерцает у входа табличка с годом постройки, «памятник культуры», ее обдувает сухой степной ветер. Светятся узкие, глубоко запрятанные окна – на шуршащую от ветра траву падают пятна света. Одинокая, продрогшая липа жметесь к стене, покачивает ветвями, заглядывает в просторный и шумный раздевальный зал, расчерченный рядами кресел.

А в первом от окна ряду сидим мы с Серегой: в простынях, с розовыми пятнами на плечах, с пальцами в зайчиках. Серега подпирает кулаком подбородок, я потягиваю квас.

А когда мы, наконец, выбрались из простыней и прошли через помывочную, на ходу натягивая шапки и постукивая по животам мокрыми остывшими вениками, оказалось, что пока я мечтал о степи, а Сере-

га считал ворон, пришли Ерохины. И не просто пришли, но скоренько разделись, побросали веники по тазам – и уже взялись за парную.

Я даже удивился – как я мог их упустить? Ерохиных обычно слышно задолго до того, как они попадают в раздевальный зал, – еще от гардероба, от касс доносятся обычно их голоса и хохот.

Сейчас они, покрикивая друг на друга и на окружающих, гогоча и гремя тазами, сновали в распахнутой настеежь парной, мели ее растрепанными вениками, выволакивали громоздкие деревянные решетки в мокрых следах, ставили к стене.

Сереге заворчал недовольно.

– Засиделись.

Вместе с Ерохиными наводили порядок еще несколько человек энтузиастов – и среди них был наш мужик, широкий, в розовых пятнах.

– Ща будет! – покрикивали Ерохины – оба широкоплечие, загорелые, с длинными крепкими руками, квадратными подбородками и плоскими носами. – Хоть попаритесь нормально!

Желающие попариться разбрелись по помывочной, снимали шапки, возвращали веники в тазы. Кто-то уходил в раздевальный, кто-то предлагал Ерохиным помощь, кто-то лез под душ, кто-то – как мы с Серегой – садился на тяжелые мраморные скамьи и ждал.

В помывочной шумела со всех сторон вода, пахло шампунями и мылом, воздух был влажный и теплый, под высокими потолками клубился туман – и в нем отдавались неясным, каким-то изгибающимся, эхом десятки голосов, из которых громче всех звучали ерохинские.

– В сторону! – кричали они, подхватывая решетку. – Зашибет!

– Орут как резаные, – пробормотал Серега.

Я провел прохладным уже веником по груди, зачерпнул из таза воды – к ладони прилип серо-зеленый дубовый листок – и умылся. Вспомнил про степь, стал смотреть по сторонам – и снова почувствовал, как разворачивается во все стороны полотно шуршащей травы, как вздыхает душистый ветерок. Окна в помывочной были закрыты толстым ребристым стеклом, сквозь которое ничего нельзя было разглядеть – ни с той стороны, ни с этой – в изгибах мягко светились блики от ламп, и это было очень кстати, потому что иначе в окна смотрели бы из-за дороги пятиэтажные дома.

А в степи пятиэтажных домов нет.

Я снова зачерпнул из таза воды, снова посмотрел по сторонам и увидел у одной из скамей мальчика – «Я люблю папу» – с отцом.

Шапка лежала на бортике вместе с войлочной рукавицей и скрученной деревянной сидушкой. Сын сидел на скамье, отец стоял рядом – и оба они были в пене, на круглых головах пузырился густо шампунь.

Мальчик встал, отец сел на его место, поставил сына перед собой и стал тереть ему мочалкой спину, придерживая одной рукой за плечо, а сын топтался на месте и робко, даже испуганно смотрел на хохочущих Ерохиных, которые уже закончили орудовать вениками и теперь сушили парную: то распахивая, то прикрывая тяжелую дверь. От двери расходились тугие волны горячего воздуха – в печь уже начали поддавать.

Отец опять что-то рассказывал, увлекался и жестикулировал, взмахивая мочалкой, трепал мыльную макушку. Я смотрел на них, на белую спину мальчика, на то, с каким испугом он взглядывает на Ерохиных и как жметя к отцу, и мне подумалось: «Каким он вырастет?»

Ерохины перестали сушить парную и скрылись внутри, громыхнув дверью. Зазвенела заслонка печи, вокруг парной стал собираться народ.

«Таким, как Ерохины, не вырастет, – думал я. – И даже таким, как Серега, вряд ли».

– Пойдем, что ли...

Мы снялись со скамьи, Серега с силой взмахнул веником – с него на стену полетели брызги – двинулись к парной.

«Даже таким, как я, наверное, не вырастет», – продолжал думать я, пробираясь к двери и занимая место в нестройной, распадающейся очереди.

И однако возвышалась над мыслями уверенность в том, что все с этим мальчиком будет хорошо – и что не в том вообще-то счастье, чтобы быть таким, как Ерохины или мы с Серегой; казалось, что вот он, быть может, вырастет по-настоящему хорошим человеком – и уж точно жизнь его будет счастливой и светлой и какую-то огромную роль сыграет в этом счастье не только трогательная отцовская – и сыновья – любовь, но даже смешная банная шапка с петелькой на макушке.

В очереди у парной между тем нарастало недовольство, норовили дернуть дверь.

– Сейчас опять... – жаловался кто-то кому-то. – Не зайти будет.

Дверь приоткрылась, из-за нее высунулось красное квадратное лицо.

– Хорош ломиться, – сипло приказал Ерохин. – Нагреваем.

За ним виден был второй – размахивающий у печи черпаком.

Дверь закрылась.

Серега стоял со скучающим видом и выщипывал из веника тонкие голые веточки.

– Мой возьми, – предложил я. – Что ты с этой соломой...

Серега отмахнулся.

– Да нормально.

– Открывайте, сколько можно! – послышалось из-за спин. – Дергай дверь!

Сзади навалились, толпа стала тесниться. Мужики возмущались, стучали в дверь кулаками. Наконец, она скрипнула, отворилась – и у стоящих в первом ряду ресницы закрутились колечками: толпу обдало волной острого, какого-то, кажется, стеклянного жара. Мне вспомнилась школьная экскурсия на хрустальный завод – оранжевое, истекающее огненными каплями стекло, надуваемое на манер воздушного шара.

В ту же секунду толпа хлынула в парную – и мы с Серегой хлынули. В первое мгновение от резкой смены температуры у меня – как, наверное, и у всех – перехватило дыхание, я надвинул шапку на глаза, засопел, и мы с Серегой протиснулись к стене. Оправившись от первого замешательства, толпа взялась штурмовать полки – и первые смельчаки, прижав веники к груди, зашпешили по ступеням. На самом верху – под лампой, где в прошлый раз сидели мы с Серегой, – восседали, как древнегреческие олимпийцы, Ерохины. Вокруг них изгибался и шел спиралями раскаленный воздух.

Мужики, опуская шапки, как забрала шлемов, карабкались, сжимались, прятали лица в веники, искали себе места на полке, а когда находили и садились, то замирали, глядя на остальных – и только гла-

зами сверкали. Два или три человека – включая вытянутого, точно жердь, старика со скребком – взошли на самый верх, сели вровень с Ерохиными.

Кто-то поднимался на несколько ступеней и останавливался, кто-то вообще не поднимался и стоял внизу, у перильца с черпаком. Серега рванул наверх, выставив перед собой локоть и точно отталкивая им жар, скользнул на ближайшую полку – нижнюю – кинул рядом веник, уперся в колени локтями и погрузил лицо в ладони. Но через пару минут сполз с полки и спустился на ступени – где стоял, упираясь макушкой в туго натянутый жар, я.

– Ничего, – прошипел он, раздувая ноздри. – Нормально.

Парная затихла и наполнилась сопением – все замерли, не шевелясь, и только пытались по мере возможности дышать.

Потом заскрипел по плечам и груди старик – звук был такой, словно по дереву проходились наждаком. Послышались первые робкие хлопki – жар заколыхался, заворочался в парной, расплескиваясь до самой двери. Мы с Серегой поднялись повыше – жар так яростно плеснул по плечам, что на мгновение я почувствовал на них неестественный, неприятный холодок. Я поднял дышащий огнем веник на уровень груди и хлопнул – раз, два.

В парной поднялся шум, мужики заработали вениками. Ерохинские мелькали так стремительно, словно у их обладателей было по четыре руки – и только старик сидел прямо и, как ни в чем не бывало, скреб себе грудь.

Стараясь не раскидывать руки, втянув головы в плечи, мы с Серегой кое-как попарились, ударили друг друга по спине, соскочили вниз и вместе со второй партией ретировавшихся вывалились из парной – алые, задыхающиеся и дымящиеся.

От плеч, спины и рук валил пар.

– Вот валит-то, – усмеялся Серега, рассматривая плечи и подтягивая к красной груди простыню.

Я сидел, откинувшись к спинке, и смотрел перед собой, пар белесыми струйками плавал перед глазами, изгибался в такт дыханию.

– У тебя квас есть еще?

Я нащупал бутылку, протянул, не поворачивая головы.

Послышалось жадное бульканье.

– Ну, Ерохины! – звучало на других рядах. – Нельзя так! Это же фанатизм!

Оратора вяло поддерживали.

Я принял от Сереги бутылку, сделал несколько глотков, и мне показалось, что в животе у меня зашипело – с тем же шипением, с каким падает в печь вода из черпака.

Серега что-то пробормотал, но что именно – я не расслышал. А переспрашивать было лень. Я заблуждал медленным, невнимательным взглядом по креслам, по стене и наткнулся на окно.

Дрожали по-прежнему бледные липовые ветви, трясли редкой листвой.

Я вспомнил про степь, взялся представлять, нащупывать и ощущать – но мысли отказывались выстраиваться в нужном порядке, внимание рассеивалось, и степь то показывалась, то снова пропадала, баня проваливалась в черную космическую пустоту, плыла сквозь нее, рядом с ней плыла, боясь оставаться в одиночестве, липа.

Я бросил бесплодные попытки сконцентрироваться и оттащил взгляд от окна.

Мимо нас прошагал, переваливаясь, широкоплечий мужик – окутанный клубами пара – с грохотом приземлился на свое место, закрыл глаза и замер – только необъятная грудь продолжала вздыматься, толкая столб пара, как поршень.

Так мы и сидели молча, откисяя – какое-то время. Я последовал примеру мужика и закрыл глаза – и сквозь густую темноту, по которой скользила едва заметная темно-красная рябь, слушал свое дыхание, сопение Сереги, шум воды из помывочной и споры на других рядах. Загремели издали голоса Ерохиных, зашпешили, увеличиваясь в размерах, заполнили собой весь зал.

– Он на прошлой неделе был! – отвечали кому-то Ерохины. – На две подряд жена не пускает!

И – хохот.

Я сидел, прислушивался и ощущал, что понемногу остываю. Нашарил, не открывая глаз, бутылку отпил – и никакого шипения не показалось. Только взялся ставить на место – почувствовал, как ее тянет в свою сторону Серега.

«Значит, сидит с открытыми глазами, – догадался я. – Может, и мне пора?»

Но решил, что пока еще не пора.

А спустя какое-то время – когда я уже чувствовал себя совсем остывшим, когда невесомое прежде, похожее на облако, тело налилось тяжестью, но глаза открывать по-прежнему не хотелось – Серега завожился рядом, зашуршал простыней, кресло скрипнуло, и в темноту колоколом ударил Серегин бас:

– Покурим, что ли?

В моем случае это означало стоять рядом с курящим Серегой.

– Спишь?

Я с усилием открыл глаза, мягкая темнота разодралась надвое, словно ткань, и я увидел залитый светом ряд кресел, красного, темно-красного, свекольного какого-то мужика с широкими плечами, а перед собой – Серегу, закутанного в простыню на манер греческого философа.

Серега подбрасывал в ладони зажигалку и по-прежнему дымился.

– Не спи.

Я моргнул, снова моргнул – уперся ладонями в шершавые деревянные ручки и поднялся.

– Я сам чуть не залип, – сообщил Серега, подобрал поудобнее простыню и пошел к двери, чиркая на ходу зажигалкой.

Курили в изгибе небольшого, буквой Г, коридорчика между раздевальным залом и холлом. У стен стояли друг напротив друга деревянные креслица с откидывающимися сидушками, на подоконнике блестела в свете лампы банка, приспособленная под пепельницу.

Узкое окно было покрашено почти до самого верха, только форточка и небольшой сектор рядом с ней оставались прозрачными – в них смотрело темное небо.

Форточка была открыта, и по коридору гулял зябкий октябрьский ветерок – неспособный вытянуть или хотя бы приглушить впитавшийся в стены запах табака.

Сергея стал у окна, закурил. Дотянулся до форточки и раскрыл ее пошире. Я сел напротив него, в креслице, вытянул ноги и зевнул.

– Сам, говорю, чуть не залип, – ответил на зевок Сергей и выпустил струю дыма, целясь в лампочку.

Ветер подхватил дым и бросил в стену.

Сергей стоял, глядя в окошко, покачивался с пяток на носки. Потом щелкнул пальцами и повернулся ко мне.

– Штука эта. Что ты рассказал.

Я не понял.

– Ну, про внимание. Про ощущение, – раздраженно пояснил он.

Я кивнул.

Сергей затынулся поглубже, помолчал, покачал головой.

– Круто, – выдохнул наконец он. – Прямо как будто... Да.

Он посмотрел на меня.

– Круто, да.

Он опять затынулся, помолчал.

– Ты как рассказал, я это... Ну, в окно глянул и представил, как будто бы, – он взмахнул рукой, с сигареты на пол поплыла, кружась, искорка. – Как будто мы сейчас – ну как в горах.

Он хмыкнул, стряхнул пепел в банку, посмотрел на руки – все еще в пятнах.

– Ну, как бы вот баня наша – а стоит на горе, – он снова хмыкнул. – На уступе.

Он посмотрел в окно и рассмеялся.

– Прикинь, да? Наша баня – со всеми... башенками, лепниной... И стоит на горном уступе, над ущельем.

Он чиркнул зажигалкой.

– Да... И прямо – почувствовал, да. Горы вокруг, высота... Прямо горы. А из окон пар валит – Ерохины парятся!

И он рассмеялся.

– А липа? – спросил я.

– Какая липа?

– Которую в окно видно.

– А, – он махнул рукой, затушил сигарету и тут же прикурил вторую. – Да она как раз в тему.

Он посмотрел на меня, выставил вперед ладонь.

– Горный уступ. Баня. И у бани – липа растет. Одинокая. Горная, – он пожал плечами. – Вполне себе картина.

Стукнули двери раздевального зала, и мимо нас прошли через коридорчик отец с сыном – те самые. Теперь оба они были в джинсах, в джемперах на молнии. У отца на плече висела спортивная сумка, из нее выглядывали черенки веников. У мальчика за спиной болтался рюкзачок.

Щеки у обоих были красные, волосы крупными кудрями топорщились в разные стороны, глаза блестели. Поравнявшись с нами, отец коротко посмотрел на меня, на Сергея и кивнул – прощаясь.

– С легким паром, – ответил Сергей, но оба уже скрылись за дверями, в холле.

Я представил, как они забирают в гардеробе куртки, заматываются, стоя перед зеркалом, в шарфы, как отец натягивает на макушку сына шапку с помпоном – быть может, и сам надевает такую же, только размером побольше – толкают скрипучую дверь и уходят вдвоем сквозь бледную, шуршащую травой степь.

– Слушай, – позвал меня Серега, прикрывая форточку. – А погнажи потом ко мне. Танька у матери – пива попьем, поужинать чего-нибудь захватим по пути.

Я посмотрел на него виновато.

– Извини, Серег, сегодня никак. Домой надо.

Он пожал плечами.

– Базара нет, – он затушил сигарету, затолкал окурок в банку. – Ну, подвези хотя бы, коробка-то...

Он поднял руки и точно сломал невидимую палку.

– Да, конечно.

И потом – после бани – Серега всю дорогу сидел угрюмый, постукивал пальцами по подлокотнику, хмурился и крутил ручку магнитолы, делая музыку то громче, то тише. Через сверкающий вывесками, сияющий фонарями и фарами, витринами и окнами город, мимо торговых центров и новостроек, арок и площадей мы проехали, перекинувшись всего парой слов.

СНЕГ ИДЕТ

И его окутало, закружило теплом, светом, праздничным шумом – когда гости собираются, рассаживаются, помогают заканчивать сервировку, перебрасываются короткими веселыми репликами, все вразнобой, отвлекаясь и прыгая с темы на тему, – а кто-то еще шуршит куртками в прихожей, обивает у порога налипший на ботинки снег, а кто-то еще в пути – и звонит с извинениями, просит не ждать.

– Заходите, заходите, что вы возитесь!

Он помог жене снять холодное, в блестящих каплях, пальто и построил его на вешалке рядом со своим. Жена стянула сапожки, оставила в углу, подхватила подарочные пакеты и упорхнула в комнату, а он сперва возился со шнурками, а потом нависал над зеркалом, приглаживая непослушный чуб и разглядывая гладко выбритый подбородок. Наконец он сдался, взъерошил волосы посильнее, чтобы они торчали во все стороны и чубу не было одиноко, потянул воротник рубашки за уголки, расправил плечи и шагнул в небольшую, чрезвычайно уютную гостиную, почти целиком занятую богато накрытым столом. Вокруг стола ходили и сидели родственники – и как только он вошел, все стали смотреть на него, здороваться, привставать и хлопать по плечам, а он жал горячие руки, кивал, глупо улыбаясь, отвечал что-то дежурное, чувствовал себя счастливым и искал глазами жену – а она уже хлопотала рядом с сервантом и помогала матери – своей матери, а его теще – с фужерами и графинами.

– После – в бильярд? – мотал головой двоюродный брат – двоюродный брат жены – студент, умница, будущий архитектор и всегдашний, чуть ли не с младенчества, пианист.

И он обещал, что да, в бильярд, обещал машинально, не вдумываясь, не успевая еще обрадоваться планам.

Что-то спрашивала теща; суетилась, передавая из кухни подносы, бабушка, дядя – дядя жены – со скрипом ввинчивал штопор в тугую пробку, дети ютились на узком диванчике и ощупывали хрустящие разноцветные свертки, которыми был уставлен комод, а дедушка – дедушка жены – седой, высокий, с неизменно смеющимися глазами и как-то по-старинному ровной спиной, сидел во главе стола, прислушивался к разговорам, давал комментарии, кивал удовлетворенно – и, увидев его, протянул для рукопожатия широкую, сухую ладонь.

– Нет, мама, – говорила жена, раскладывая свертки под елкой – елка занимала целый угол, раскидывала во все стороны ветви и макушкой упиралась в потолок, моргала гирляндами и бросала на сервант пестрые блики, – мы на машине.

Теща обернулась к нему, посмотрела с укоризной – и весть о том, что они приехали на машине, что он за рулем и потому, понятно, пить будет только сок – или газировку, или минеральную воду, – весть эта в один миг облетела гостиную. Повисла пауза – а потом на него накинулись, стали шутливо упрекать, уговаривать и театрально сокрушаться, и больше всех сокрушался дедушка – качал седой головой, всплескивал руками и вздыхал, хотя глаза его при этом, конечно, не переставали смеяться.

И он сперва отшучивался, кивал на погоду, а потом вдруг сам пожалел, что сел за руль, и подумал, что хорошо бы сейчас было – с мороза, с улицы – поднять бокал играющего пузырьками шампанского, или темно-рубинового вина, или рюмку чего покрепче – дедушка крутил в руках пузатую бутылку коньяка, дядя водил пальцем по мелко исписанной этикетке, что-то объяснял – и вспомнились ему уютные январские строчки, из Берестова:

И так подходит для пиров
И встреч любой из вечеров.

И жена сперва укоряла тещу и остальных, старалась говорить строго, а потом, видно, и сама пожалела и посмотрела на него вопросительно, как будто даже обиженно.

– Доедь ты до дома, – посоветовал авторитетно дядя. – Машину оставь и обратно – на такси. Ехать всего ничего.

Ехать и правда было всего ничего – и при желании туда-обратно можно было обернуться за пятнадцать минут.

К тому же не все еще прибыли – и команды садиться еще не звучало.

Идею подхватили, жена подумала и согласилась, дедушка развел руками – хозяин, мол, барин, – он прикинул, посмотрел на часы и вернулся в прихожую, стал одеваться.

– Только ты забеги домой, оденься потеплее, – говорила жена, поправляя ему воротник, – пальто легкое совсем.

Он поцеловал ее в пахнущую духами щеку и вынырнул в подъезд, а через минуту уже выезжал с парковки, опустив стекла – чтобы лучше видеть, не едет ли по двору, наперерез ему, кто-нибудь еще – и шурился от заметаемого в салон снега.

Мело, не переставая, уже несколько дней, с самого Нового года – и мело весело, празднично, то тише, то шибче, так, как обычно метет только в фильмах да еще в стеклянных шарах с пенопластовой крошкой, если их потрясти. Город таял в белой пелене, и сквозь эту пелену протискивались огни гирлянд, витрин и фонарей. Солнце показывалось по утрам – тогда снег озарялся сиянием, искрился и горел ослепительно, – а потом скрывалось в облака и только угадывалось за ними по пятну холодного серебряного света. За утром шли короткие, сонные – точно с полудня начинало уже вечереть – дни, и их уже сменяли длинные, густые вечера с хрустящим снегом и лучистыми звездами, моргающими сквозь метель.

Он выехал из двора, со скрипом поднял стекла, стянул и бросил на сиденье шапку и пополз от перекрестка к перекрестку, от светофора к светофору. По дороге гуляли буранчики, заворачивались спиралями – и автомобили не рисковали разогнаться, тормозили загодя, густо дымили выхлопом и гудели. Он катился вместе со всеми, смотрел по сторонам,

вытягивая шею, почти упираясь чубом в лобовое стекло, осторожно поддавал газ – машина порывкивала, – видел, как за прыгающими туда-сюда дворниками показываются и пропадают в снегопаде горящие окна – их зажигали рано, несмотря на то что на улице еще было светло, – гирлянды и макушки елок, – и чувствовал, как его переполняет горячее, сбивающее дыхание веселье, и ему нравилось ехать в не успевшей остыть машине, нравилась попавшаяся случайно – но как будто не случайно – песня, нравились огни витрин и окон, нравился январь, и снегопад, и уютный, тускнеющий день, готовый упасть в дрожащие сумерки, и то, что его ждут и, по всей видимости, любят.

Он представил, как здорово будет идти после, почти уже ночью, в бильярд, как будет клубиться снег на фоне черного неба, как будут серебриться в лунном свете – и свете фонарей – сугробы, как брат жены будет рассказывать про учебу и про Москву, и как будет приятно ввалиться в шумную просторную бильярдную, пахнущую мелом и кухней, полную глухого перестука шаров и музыки.

Потом он стал вспоминать, какой была зима в прошлом году, а какая в позапрошлом – прошлая была слякотной и серой, «сиротской», а позапрошлая в памяти почти не осталась – потерялась в ремонте и подготовке к свадьбе. И он отметил, что давно не было такой снежной, такой настоящей зимы – только разве что в детстве, но в детских воспоминаниях не сохранился снегопад – как будто снег разом появлялся и оставался лежать до весны, а потом также внезапно исчезал, – и сохранились только затянутые ледяным узором окна, которые приятно скрести ногтем, и горячая батарея под подоконником.

Он срезал, прогромыхал по кочкам вдоль сквера – в сквере уже бледно светились сквозь ветви круглые фонари, – подмигнул угадывающей за деревьями бильярдной, попетлял, выехал на перекресток, свернул и оказался в своем дворе. На удивление быстро обнаружил свободное место, точно его и ждавшее, припарковался – задом, пришлось приоткрывать дверь и высовываться, смотреть через плечо на низенькую оградку перед тротуаром, – натянул шапку и заспешил к подъезду, ладонью загребая с оградки снег.

День истончался – и снегопад был теперь не белым, а синевато-серым, пепельным, и ярче горели в нем прямоугольники окон, рассыпанные над головой, прямо, казалось, по низкому небу. С детской площадки доносился смех, повизгивания, скрипела тугая неуклюжая карусель, и в воздухе стоял особый зимний гул – почти неразличимый, низкий, тоже почему-то кажущийся уютным.

В один миг оказался он у лифта и, пока ехал, смотрел на себя в зеркало и видел, как горят у него глаза, как тает на плечах и на шапке снег, как играет на щеках – совсем как в детстве – румянец. Как вообще-то широки его плечи и как здорово сидит на нем пальто – и даже жаль будет менять его на дутый, бесформенный пуховик. На своем этаже он вышел – и лифт тут же пополз по шахте вверх, за следующим пассажиром, – пересек широкоую, пропахшую табаком, площадку, свернул и зазвенел ключами, открывая дверь.

Оказавшись в квартире, он скинул пальто, не разуваясь, раскачиваясь на пятках, шагнул к вешалке и снял с нее пуховик. И уже погрузил одну руку в плотный тяжелый рукав – но остановился и замер, а потом вернул пуховик на место, сунул влажную шапку в оттопыренный карман и медленно опустился на пуфик под вешалкой.

Горячее веселье, наполнявшее его, стало еще горячее, заметалось в груди, ударило в живот. Он выпрямил спину, положил ладони на колени и прислушался.

Слышно было, как гудит, проползая мимо этажа, лифт – с пассажиром. Из кухни урчал холодильник, откуда-то – то ли из-под пола, то ли из-за потолка долетали глухие голоса соседей. В прихожей витал не успевший рассеяться аромат подаренных жене духов, пахло домом, кошачьим кормом, в открытую дверь комнаты видно было рассыпанные в беспорядке вещи – собирались наспех, боялись опоздать.

Он посидел немного, прислушиваясь к ощущениям, достал и повертел в руках телефон – но потом медленно, стараясь не шуметь, разулся, шагнул в кухню и зажег свет. Налил воды, выпил, открыл переставший урчать холодильник и оглядел полки, заставленные контейнерами. Потянулся за чем-то, но передумал и решил не портить аппетит – и только тогда подошел к окну и вызвал такси, а закончив разговор, остался стоять, отодвинув занавеску и глядя за окно.

За окном по-прежнему мело, пушистые хлопья катались по подоконнику с той стороны, липли на щербатые края откосов. Метель была серо-синяя, густая – и заметаемый ею двор был серо-синий, и автомобили – его стоял ровненько-ровненько, перпендикулярно заборчику, как по линейке, – и горки, по которым сновали дети, и плотные кроны невысоких, высаженных совсем недавно, рябин – все было серо-синее. Двор выгибался кольцом, сквозь снег моргали окна, переливались гирляндами. Там, где кольцо разрывалось и между двумя домами вставала широкая щель – с клумбами и выгибающимся тротуаром, – угадывалось белое полотно реки, но противоположный берег, обычно хорошо просматриваемый, высокий, усыпанный прямоугольниками крыш, исчезал в метели, и за рекой словно сразу начиналось небо – взмывало ввысь, разворачивалось шатром – и только светились неярко над рекой два робких, похожих на звезды, огонька.

Он смотрел на реку, на метель, на прижимающееся к домам небо, искал за огоньками горизонт и думал о том, что вот сейчас, вроде бы и недалеко, а кажется – на другом конце земли от него, трещит под весом подносов стол, над столом клубятся ошеломительные, дурманящие запахи, блестят в свете люстры бокалы, блюда и вазочки, а вокруг стола ходят и разговаривают, смотрят на пышную, в огнях и игрушках, елку, рассаживаются по местам – и одно из мест предназначено ему и ждет его. И о нем, быть может, говорят, и жена поглядывает на часы, прикидывая, как скоро он вернется. Думал о такси, о том, что сейчас спустится и будет трястись в жарком, запотевшем салоне, а потом его ждет долгий, наполненный разговорами и смехом, воспоминаниями и подарками вечер.

И так ему стало хорошо от этих мыслей, так трепетно-радостно, так тесно и приятно дышать, что ему подумалось: уйти и вернуться – лучше, чем вообще не уходить; что как же это прекрасно, что сперва они поехали на машине и что ему пришлось возвращаться домой и стоять сейчас в теплой, светлой кухне – тесной и родной – у окна, за которым метет метель и тает в белизне противоположный берег.

В кухню вошла – из комнаты, через прихожую – щурясь от яркого света, кошка, потерлась о ногу, мяукнула. Он наклонился, погладил тонкую, в блестящей шерсти, спину и тронул кончиком пальца прохладный нос. Потом выпрямился, посмотрел на часы, вернул занавеску на место – но идти вниз и ждать такси на крыльце не хотелось.

Хотелось растянуть оказавшееся в его руках мгновение – и он даже рад был, что такси не приехало сразу, как это обычно бывает, а задерживается – вероятно, из-за снегопада. Он прошелся по кухне, выпил еще воды, подвигал стоящие на плите сковородки, чтобы они стояли как можно ровнее, шагнул к деревянной полочке с книгами, висящей на стене, проскользил взглядом по корешкам и стянул купленный не то в конце ноября, не то в начале декабря сборник рождественских стихов – мягкий, праздничный, в снежно-голубой обложке. Раскрыл наугад в середине, прислонился плечом к дверному косяку и стал читать, шепотом, почти беззвучно шевеля губами.

К белым звездочкам в буране,
Тянутся цветы герани
За оконный переплет...

Стихи вытягивались столбиком по центру страницы, их с обеих сторон сжимали широкие, сероватые поля. Сборник был куплен совершенно случайно, взгляд сам упал на него, почему-то выделив яркий корешок из числа многочисленных соседей.

Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья...

Он осекся и поймал на себе внимательный взгляд желто-зеленых глаз. Кошка сидела на полу, вскинув маленькую треугольную голову, и смотрела на него.

– Ну? – спросил он, опуская руку с книгой. – Тебе тоже почитать?

Кошка мяукнула – точно поняла.

– Проще простого!

Он подтянул к себе стул, сел и прочистил горло. Кошка помяла линолеум передними лапками, замерла.

– Снег идет, снег идет! – воскликнул он. – Словно падают не хлопья!

А в заплатанном салопе сходит наземь небосвод!

Молчал холодильник, не слышно было ни беспокойного лифта, ни соседей. Даже часы над дверью, казалось, то ли вовсе перестали тикать, то тикали куда осторожнее обычного.

– Снег идет, густой-густой! В ногу с ним, стопами теми!..

Он разошелся, то вскрикивал и басил, то возвращался к шепоту, растягивал слова, гнул интонацию – и сам радовался от того, как хорошо у него получается читать и как приятно его, наверное, сейчас слушать.

Кошка сидела неподвижно, смотрела загадочно – не то восхищенно, не то ошарашенно – и только пушистые бока плавно, чуть заметно ходили туда-сюда.

В кармане задрожал беззвучно телефон – он нащупал и сбросил.

– Снег идет, снег идет... Снег идет и все в смятеньи... - выдыхал он. – Убеленный пешеход. Удивленные растенья, – он выдержал паузу, прислушался к плотной, теплой тишине. – Перекрестка поворот...

Он закрыл книгу, поднялся со стула и отвесил кошке поклон. Потом присел на корточки, почесал благодарного слушателя за ухом – благодарный слушатель заурчал, потерся лбом о запястье, извернулся и засеменил к миске с кормом – подпрыгнул к окну и посмотрел вниз.

Перед подъездом тарахтело, вытянув лучи фар и уткнувшись ими в стену, такси. Водитель, навалившись на стекло, обивал дворники от снега.

Телефон снова задрожал, он прижал его плечом к уху, защелкал выключателями, вынырнул из кухни и плюхнулся на пуфик.

– Ты куда пропал? Садимся уже!

За голосом жены слышны были разговоры, позвякивание посуды. Он различил писк детей, дядин бас и негромкую, похожую на перезвон капли, музыку – умница-брат играл на пианино в дальней комнате.

Кошка выглянула из кухни, посмотрела с интересом, потом зевнула и прогарцевала в комнату.

– Бегу, бегу, – бормотал он в трубку, влезая в пуховик, вываливаясь в подъезд и звеня ключами. – Такси...

Он подбежал к лифту, ударил по кнопке, услышал, как где-то далеко загудело, как по шахте зазвучали эхом голоса, и решил не ждать – толкнул дверь, ведущую на лестницу, и помчался вниз, перепрыгивая через ступени.

– Снег идет, снег идет, – выдыхал он радостно, хватаясь для равновесия за перила и чувствуя, как успокоившееся было веселье снова закипает в нем.

И на каждом этаже, пролетая мимо узких, дышащих холодом подъездных окошек, он видел краем глаза, что снег действительно идет, что это уже не метель, а плотный, ровный снегопад, тяжелый и пушистый – но видел мельком, не видел даже, а только отмечал, не задумываясь и не всматриваясь, потому что мыслями уже сидел за горячим, шумным столом, держал за стеклянную ножку бокал и думал над тем, какой тост будет говорить, когда настанет его очередь.